

НЕИЗДАННАЯ СТАТЬЯ Н. В. ШЕЛГУНОВА О ДОБРОВОЛЮБОВЦАХ И ПИСАРЕВЦАХ

Публикация Г. Прохорова

В конце 1870 или в самом начале 1871 г. в СПб. цензурный комитет на рассмотрение поступила из редакции «Дело» (в гранках) статья неизвестного автора под заглавием «Сочинения Д. И. Писарева. 10 ч. С.-Петербург. 1866—1869». Цензуравший статью цензор А. де-Роберти не нашел возможным пропустить эту статью, и цензурный комитет, в заседании своем 13 января 1871 г., вынес следующее постановление: «Имея в виду, что с цензурной точки зрения большая часть сочинений Писарева признаны вредными по своему отрицательному направлению, цензор находит, что восхваление и чрезмерное возвышение подобного писателя в глазах молодых читателей журнала «Дело», отрицательное направление которого вызвало постоянный и строгий надзор цензуры, следует признать неудобным, и потому полагал бы настоящую статью не допускать к печати»¹.

Официальный редактор «Дела» Шульгин с жалобой на это решение комитета обратился в Главное управление по делам печати. Последнее затребовало от СПб. цензурного комитета «объяснение причин недозволения к помещению в журнале «Дело» статьи под заглавием «По поводу сочинений Писарева». Цензурный комитет в своем ответе (4 февраля 1871 г., № 198) мотивировал свое запрещение статьи соображениями, изложенными в журнальном постановлении комитета, добавив только, что напечатание данной статьи «имело бы значение пропаганды этого [отрицательного] направления между молодыми читателями этого журнала». Дело это Главным управлением было направлено на рассмотрение члену совета В. М. Лазаревскому (5 февраля 1871 г.), который стал на сторону цензурного комитета. 24 февраля 1871 г. Главное управление по делам печати уведомило редактора журнала «Дело», что «заключением совета этого управления, утвержденным Г. М-ром Внутр. Дел, распоряжение СПб. цензурного комитета оставлено в своей силе»².

Так эта статья по поводу выхода в свет собраний сочинений Писарева и осталась неопубликованной.

Кому же принадлежит эта злополучная статья? Мы можем с уверенностью сказать, что автором ее был Н. В. Шелгунов.

Известно, что Шелгунов, особенно в годы ссылки, был деятельным сотрудником «Русского Слова» и затем «Дела»³. В начале 1870 г. Шелгунов из Вологды был переведен в Калугу. 11 ноября 1870 г. он писал своей жене Людмиле Петровне, что его ругает «Русский Вестник» за его статьи: «Я оказываюсь нигилистом, чего я до сих пор не подозревал. Но я остался доволен статьей «Р. В.», ибо она послужит мне для введения в статью о Писареве, которую я думаю приготовить для январской книжки...»⁴ [разрядка Г. П.]. 17 декабря 1870 г. Шелгунов в письме к Людмиле Петровне опять обращается к своей статье о Писареве: «Ну, я, наконец-то, доволен собой. Статья о Писареве, которую я посылаю сегодня — первая статья.

после которой я могу сказать, что могу писать. Я бросил перчатку молодому поколению за Писарева. Вижу, какой поднимается вой. Я восстановлю равновесие; ну и не особенно мягко. Впрочем, чего же я спешу. Прочитаете, и сами будете судить»⁵. Наконец, в письме от 19 декабря он снова пишет жене: «Если я не самообольщаюсь, то со статьей о Писареве (на январь и если пропустит цензура) я заберу силу. Это первая моя статья с отвагой»⁶.

Эти выдержки из писем Шелгунова уже сами по себе позволяют утверждать, что поступившая в начале января в цензуру статья журнала «Дело» о Писареве принадлежит Шелгунову. Сопоставление же основных мыслей этой статьи с высказываниями Шелгунова в других статьях окончательно убеждает нас в правильности нашей догадки.

Говоря о различии между Добролюбовым и Писаревым, Шелгунов в данной статье, между прочим, пишет: «Добролюбов возится больше с обществом; Писарев — с лицом, Добролюбов указывает дорогу общественным стремлениям, Писарев заставляет задумываться над единичным поведением... Добролюбов всегда задевает чувство; Писарев обходит его, зная только одного слушателя — ум»...

«Еще при жизни Писарева «Книжный Вестник», редактируемый тогда г. Ефремовым, называл журнал, в котором участвовал Писарев, органом юной России, а журнал, в котором поддерживались традиции Добролюбова, — органом молодой России».

Сравним с этим то, что Шелгунов писал на эту же тему в том же 1870 г. в статье: «Глухая пора» («Дело» 1870 г., № 4, стр. 12): «Добролюбов переносил вопросы больше на социально-экономическую почву, оставляя мелкий психологический анализ, Писарев же стоял на почве социально-психологической. Один является руководителем как бы общественного поведения, другой — поведения личного, частного».

В своих воспоминаниях Шелгунов высказывается подробнее. «Любители определений называли «Современник» журналом молодого поколения, а «Русское Слово» — журналом юного поколения. Это определение, конечно, ничего не объясняет. «Современник» был чисто политическим и социально-экономическим органом... «Русское Слово» не было политическим органом»⁷.

«Было известно лишь, что «Русское Слово» есть журнал подрастающего поколения, в отличие от «Современника», который считался журналом поколения молодого. Читатели «Современника» смотрели на «Русское Слово» с оттенком некоторого высокомерия, как на журнал начинающих писателей для начинающих читателей»⁸.

«Современник», действительно, был журнал более серьезный и разрешавший иные вопросы, чем «Русское Слово». Может быть, это зависело от состава его сотрудников, но, пожалуй, еще больше и от времени, в которое он издавался. «Современник» и «Русское Слово» прежде всего принадлежали разному времени.

Пока не начались реформы, «Современник» отдал свои силы популяризации общих исторических понятий и первоначальных общих идей из области литературы...

И «Русское Слово» создано тою же логичностью общественного мышления. Оно явилось уже в такое время, когда острый момент всех вопросов миновал... Этим новым очередным вопросом было выяснение личности, ее положения, ее развития, ее общественного сознания и вообще ее внутреннего значения, содержания и отношения к обществу и общему прогрессу... Итак, личность как личность не составляла задачи «Современника», и задача эта досталась на долю той последующей журналистики, для которой реформы и ближайшие, связанные с ними вопросы являлись чем-то прошлым...

«Русское Слово», взявшее на себя ответы на запросы личности, вовсе не являлось чем-то обособленным. Оно было лишь другой стороной медали,

первую сторону которой представлял «Современник»... Областью «Современника» были учреждения и порядки, областью «Русского Слова» — интеллигентная личность»⁹.

Приведенные соображения позволяют признать принадлежность статьи о Добролюбовцах и писаревцах Шелгунову — бесспорной.

Публикуя статью Шелгунова о Писареве, мы ставим перед советским литературоведением снова вопрос о Писареве. Этот замечательный и блестящий критик не привлек к себе надлежащего внимания; о нем нет таких обстоятельных работ, чтобы мы могли сказать: он нам ясен до конца, роль его в 60-х годах и позже определена бесспорно, в мировоззрении его нет таких моментов, которые не подлежали бы дополнительному исследованию.

Несмотря на существующие работы Писарева, из которых некоторые отличаются несомненными достоинствами, Писарев все еще ждет своего исследователя, который сказал бы о нем окончательное слово.

Статья Шелгунова в этом отношении представляет глубокий интерес, поскольку выдвигает ряд вопросов, волновавших его и его современников в споре Писарева с Чернышевским и Добролюбовым. Статья Шелгунова выражает не только его личное мнение, — это мнение многих людей его времени. Она в достаточной степени указывает направление той части общественного мнения, выразителем которого был Шелгунов.

Не вдаваясь в критический разбор статьи, ошибочность многих положений которой ясна, но которая имеет значение как исторический документ, мы хотели бы подчеркнуть один момент — защиту Шелгуновым суждений Писарева о Пушкине и Белинском. Абсурдность этих суждений очевидна. Внимание критической мысли должно быть сосредоточено в дальнейшем не на опровержении их, а на выяснении того, какие исторические условия, какие моменты классовой борьбы обусловили данную постановку вопроса. Ошибочные суждения о Пушкине не мешали Писареву многие вопросы современности поставить зрело и верно. Недаром В. И. Ленин в полемике с «Рабочим Делом» писал в «Что делать?», что он попробует «спрятаться» за Писарева, и делает большую выписку из его статьи «Промехи незрелой мысли» о разладе между мечтой и действительностью (Ленин, т. IV, стр. 492).

В статье Шелгунова есть ряд неверных моментов и в характеристике Добролюбова. Все это читатель легко увидит и сам, если его волновали поднятые Шелгуновым вопросы и если он следил за соответствующей литературой.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Дело СПб. цензурного комитета по изданию штабс-капитаном Шульгиным ежемесячного журнала «Дело» № 76. 1866 г., т. II, л. 210.

² «Главное Управление по делам печати» 1866 г., ч. I, № 89. По изданию журнала «Дело», лл. 259—270.

³ В «Русском Слове» Шелгунов начал сотрудничать с первого года основания журнала (1859), еще до того, как журнал перешел в редакторские руки Благосветлова — ср. А. Г. Фомин, Писатель-гражданин. — «Истор. Вестн.» 1908, авг., стр. 501.

⁴ Л. П. Шелгунова, Из далекого прошлого. Переписка Н. В. Шелгунова с женой. СПб. 1901, стр. 216.

⁵ Там же, стр. 218.

⁶ Там же, стр. 218.

⁷ Н. В. Шелгунов, Воспоминания, ГИЗ, 1923, стр. 171.

⁸ Там же, ГИЗ, 1923, стр. 179.

⁹ Там же, стр. 180, 181, 182.

СОЧИНЕНИЯ Д. И. ПИСАРЕВА

10 ч. С.-Петербург

1866 — 1869

I

В каждом городе, где есть читающая и думающая молодежь, вы найдете две партии: одна поклоняется Добролюбову, другая—Писареву. Если эти партии имеют возможность где-нибудь сходиться, они немедленно вступают в ратоборство, и бывали случаи, когда разгоряченные борцы готовы были прибегать к аргументации более сильной, чем простое красноречие. Я говорю бывали, хотя спор о Писареве и Добролюбове все еще не кончился и обоюдное отношение их все еще не выяснено.

Если бы вы желали узнать, что разделяет борцов и почему Добролюбов и Писарев изображают собою такое противоположное начало, что спор мог привести даже к междоусобной войне, вы не услышали бы ни одного мнения, которое можно было бы назвать резонным. Борцов разъединяли не принципы, не основы мировоззрения; весь спор обыкновенно сводился к тому, кто умнее, кто пишет и думает логичнее и основательнее, кто первый, кто второй.

И в сфере более высшей замечался, да существует еще и до сих пор, тот же антагонизм. Те, кто считает себя человеком молодого поколения, кто уже утвердился на середине, завелся семьей, достиг известного положения, те смотрят на Добролюбова как на своего наставника. На досуге, вечером, воротившись со службы, в минуту хорошего расположения духа, когда приятно вспомнить свою молодость и юношеские увлечения, молодой отец семейства достаёт Добролюбова—обыкновенно четвертую часть—и освежает в своей памяти прошлое, невозвратное, согревает себя воспоминаниями минувшей молодости. Но пошалывая так с Добролюбовым, молодой отец семейства Писарева не только не берет, но он его и не имеет. Он развивался не на Писареве.

Поднимаясь в сферу еще высшую, в мир русского интеллектуального представительства, т. е. в литературу, мы встречаемся с повторением того же явления. Там Писарева игнорируют, игнорируют до того, что когда он умер, когда вышло отдельное издание его сочинений, то об них обмолвился только один г. Скабичевский, да и то для того, чтобы показать все ничтожество Писарева сравнительно с Добролюбовым¹. Я думаю, что г. Скабичевскому должно быть теперь стыдно за свою тогдашнюю статью.

Еще при жизни Писарева «Книжный Вестник», редактируемый тогда г. Ефремовым², назвал журнал, в котором участвовал Писарев, органом юной России, а журнал, в котором поддерживалась традиция Добролюбова—органом молодой России. Это говорилось с иронией, с оттенком презрительного превосходства.

Все эти отдельные факты важны потому, что ими объясняется причина антагонизма сторонников Добролюбова и Писарева. Вопрос свелся к борьбе поколений, к отцам и детям. В пылу спора забыли и о Добролюбове и о Писареве, имена которых служили не знаменем партий, потому что это было и невозможно, а просто кличкой противников. Не думайте, чтоб кому-либо было действительно серьезное дело до идей Добролюбова и Писарева. В Добролюбове и Писареве каждый видел лишь себя и отстаивал свое поколение или, вернее, своих сверстников.

Действительно, Добролюбова и Писарева разделяет такой промежуток времени, что можно было кончить курс в университете и даже жениться. Когда господствовал Добролюбов и воспитывал молодых людей 57—61 года, Писарев только расправлял крылья и учился писать. Когда же с 1863 года Писарев поднял голос и заговорил как учитель, те, кто слушал курс у Добролюбова, закончили уже свое учение и сложили книги: Писарев не мог

быть для них ни авторитетом, ни наставником, они начали относиться к нему сверху, называя его учителем юных, а себя считая молодыми, зрелыми, окончательно сформировавшимися на слове своего учителя. Это обыкновенная история застоя, но только повторившаяся на наших глазах. Мы были знакомы с нею по поколению Белинского, которое не хотело признать Добролюбова, теперь же пришлось еще раз увидеть ее на поколении Добролюбова, не хотевшем признать Писарева.

Вся беда случилась оттого, что Добролюбов умер рано и что рядом с ним родился Писарев. Людям всегда нужен один командир, один пастиух; два произведут непременно раскол, если даже они будут говорить буква в букву одно и то же. Если бы Добролюбов жил до сих пор, а Писарева не было, умственное благополучие молодого поколения ничем не нарушилось и оно с покорностью шло бы за своим единственным учителем. К сожалению, явился непредвиденный случай: свой учитель умер преждевремен-но, не сказав своего последнего слова, за ним выступил другой. «Долой Писарева! мы не этого прихода!»—закричали недоучившиеся ученики.—Мы уже все знаем, нас всему научили, мы можем жить своим умом!» Ну, и начали жить своим умом, т. е. остановились на том, что читали прежде. На литературном языке это называется сохранить традицию Добролюбова. Так поколение Белинского и до сих пор сохраняет его традицию и знать не хочет новой жизни. Поколение Добролюбова тоже хочет сохранить его традицию. Но позвольте: если бы Добролюбов писал в 1870 г., как вы думаете, писал ли бы он то же самое, что писал в 1860 году? Что же вы-то тянете все одну старую ноту, зачем оскорбляете память своего учителя, заставляя его закаменеть в 25 л.; зачем вы навязываете ему свою собственную неспособность, откуда вам известно, что Добролюбов сказал свое последнее слово, а ничего бы не сказал нового? Вы издеваетесь над поколением Белинского, которое не признало Добролюбова, вы укоряете это поколение в неспособности думать прогрессивно, вы видите в Добролюбове не больше, как логическое продолжение Белинского, который, не умри он так рано, конечно, додумался бы и до того, с чего начал Добролюбов; и затем, порешив с возведением себя в перл создания и утвердившись на собственной непогрешимости, вы уже не допускаете никаких других продолжений. Подобно канифу Омару, вы говорите: «если в других книгах повторяется то, что есть в Коране (сочинения Добролюбова)—они не нужны. Если же в них есть то, чего нет в Коране, они тоже не нужны». О, какая это старая история, старая, как мир! А не собственный ли ваш учитель учил вас думать самостоятельно и прогрессивно? Бедное молодое поколение, как ты скоро закаменел и как же ты не оправдало надежд своих лучших наставников! Они считали тебя гораздо способнее, они умирали с верой, что ты пойдешь дальше, что ты призвано совершить великую миссию умственного обновления России, призвано разлит просвещение, изгнать предрассудки. Если бы Добролюбов воскрес теперь внезапно и посмотрел на тех, кто считает себя его учениками, он отвернулся бы от так называемого молодого поколения, как от умственной безнадежности, и пошел бы с другими.

Да, молодое поколение не сумело понять урока судьбы, не желавшей покинуть его в умственной беспомощности и пославшей ему по смерти Добролюбова нового наставника в лице Писарева. Не сумело понять молодое поколение, что как Добролюбов есть продолжение Белинского, так Писарев есть продолжение и дополнение Добролюбова. Молодое поколение остановилось, и за Писаревым пошли другие. И снова на наших глазах повторилась старая история разрыва поколений. Молодое поколение превратилось внезапно в юных старцев, в толпу, в стоячую воду, дальнейшее умственное развитие его прекратилось, оно созрело и даже переспело. Мир праху твоему, молодое поколение! Умерло ты ничего не сделавши и напрасно ты так

гордилось и так возносилось над людьми сороковых годов и над поколением Белинского. То поколение освободило крестьян, создало гласный суд, все реформы нашего времени явились в зародыше в головах людей сороковых годов; что же сделало молодое поколение, какую из своих идей оно осуществило на практике? Никакой. Оно превратилось только в исполнительное орудие идей сороковых годов, и, отрекшись от собственных смелых мыслей, надсмехалось над ними, как над заблуждением молодости.

Молодым (ныне уже старым) поколением я называю небольшую кучку людей, которая в 1857—1862 г. считала себе 20—25 лет и формировала свое мировоззрение на передовой литературе того времени. Порывисто и с шумом шло это умственное развитие; отзывалось оно энтузиазмом, горячностью и слепотой; слов было много, запальчивость заменяла рассуждение, порыв—энергию; но прочности не было ни в мысли, ни в порыве. Первый противный ветер мог разнести и раздуть эту кучку, как разносит он листья. Молодое поколение считало своим учителем Добролюбова; это было самообольщением, которое разделял и сам Добролюбов. Не умри он так рано, он бы это понял; но молодое поколение, пережившее своего учителя, этого не поняло. Оно до сих пор считает Добролюбова своим, хотя между молодым поколением и Добролюбовым целая бездна. Бездна эта образовалась потому, что молодому поколению досталась слишком дешево его цивилизация. «Наши благородные юноши обыкновенно получают свои возвышенные стремления довольно просто и без больших хлопот. Они учатся в университете и наслушаются прекрасных профессоров, или в гимназии еще попадают на молодого пылкого учителя, или входят в кружок прекрасных молодых людей, одушевленных благороднейшими стремлениями, свято чтущих Грановского и восхищающихся Мочаловым или, наконец, читают хорошие книжки, т. е. «Отечественные Записки» сороковых годов. Весьма часто все эти счастливые случайности сходятся вместе и помогают одна другой. Таким образом развитие простых человеческих стремлений совершается в добрых юношах без особенных героических усилий; им хочется есть, и им со всех сторон говорят: пойдите обедать и они идут. Вот и все». Это говорит Добролюбов о поколении предшествовавшем. Но разве прекрасным юношам молодого поколения досталось новое слово не так же дешево? Ведь только в этом и причина, что прекрасные юноши ушли лишь в либерализм, которого предыдущее поколение не знало. Либерализм есть явление, созданное молодым поколением, и до какой лжи и фальши он способен доходить, виднее всего на том литературном пустоцвете, которым так обогатилась журналистика последнего времени, на тех крикунах, которые перевели великие слова на мелкие дела. Какие же последствия этого либерализма, возьмем его хоть в повседневной сфере. Молодое поколение, как известно, переженилось, обзавелось детьми, достигло прочного общественного положения, т. е. нашло выгодную службу. Все это, положим, хорошо. Но вот что нехорошо. Отец из молодого поколения, в принципе отрицающий сечение, на практике, в виде исключения, сечет и своих и чужих детей. Учил ли этому Добролюбов? Молодое поколение погрязло в тех же семейных предрассудках и молится тому же мужскому главенству, как бывлые «отцы», и то, чем оно так увлекалось в свои холостые годы, теперь считает юношеской шалостью. Так ли учил Добролюбов? Три четверти из всего того, что молодое поколение считало истинами, оно признает теперь истиной только в принципе, а для практики есть у него другие истины. Этому ли дуализму учил Добролюбов? Для молодого поколения делом вышло слово, и ни для какого настоящего дела оно себя не выработало. Мы готовы на уступку, и примирились бы с молодым поколением, еслиб оно было способно хотя бы думать—то последовательно. Но именно этой способности в нем и не оказалось. Бедное, слабое поколение выговорилось и затем осело, исчезнув бесследно со все-

ми своими порывами и горячими словами, точно его и не было. Молодое поколение решительно не дало людей. Повсюду нынче жалобы на недостаток способных исполнителей. В судах у нас нет адвокатов; в земстве—знающих людей; в статистических комитетах—способных работников; в литературе—людей на смену прежних деятелей. Куда же делась вся эта масса людей, может быть, тысяч в двадцать, которая так горячо и пылко накинулась на новое слово и рекомендовала себя России новым титаном, грозившим похитить с неба небесный огонь, чтобы осветить Россию новым неведомым светом. Нового Прометея не оказалось необходимости даже приковывать, потому что он стушевался сам собою. Из всей громадной массы людей, считающей себя молодым поколением, в адвокатуре, в науке, литературе, выдались только немногие единицы, да и те больше сверстники Добролюбова, его одногодки, и мы еще не знаем, следует ли их считать людьми молодого поколения. Они люди — параллельные Добролюбову и, если хотите, такие же учителя, как он. В этих людях мы видим не людей поколения, а людей, стоящих вне его; людей текучей мысли, которые шли с молодыми, пока молодые еще двигались, пошли потом с подрастающими и всегда будут идти с теми, кто идет вперед, не спрашивая, к какому они принадлежат поколению.

В умственном бессилии молодого поколения причина того, что оно не могло идти дальше Добролюбова и закаменело на его полуслове, вообразив, что и Добролюбов был не в состоянии сказать ничего более. Слышите! Добролюбов, человек замечательных способностей, умерший внезапно 26 лет, недостигший полного развития своих сил, едва только пробивавший дорогу в лесу русской мысли, человек, успевший высказать только некоторые общие положения и едва наметивший новое направление литературной критики, человек, у которого на пути еще стояли люди прошлого, с которыми хотя он и сражался, но которые все еще были живы, человек, едва успевший смести только часть накопившейся пыли! Думать, что Добролюбов сделал все и сказал все, думать, что намеченная им программа может достать на полвека и что русскому мозгу позволено целое столетие дремать и жить старыми мыслями — думать так, значит думать очень глупо.

Для мысли нет границ; она растет и развивается, не зная остановок и перерывов. Русская жизнь не остановится и русская мысль не заостенееет, если умирают отдельные деятели или выразители ее. Белинский умер, но от этого Россия думать не перестала. Если поколение Белинского оказалось неспособно думать своим умом, то оно доказало этим лишь собственную неспособность, а вовсе не паралич русской мысли. Где жила эта мысль после смерти Белинского — мы не знаем, но она жила, никогда не думала умирать и в 1855 г. заявила о своем существовании таким блистательным образом, что поколение Белинского пришло даже в ужас от внезапно вставшего перед ним реформатора. Добродушные люди думали, что умнее Белинского уж и думать невозможно и внезапно оказывается, что русская мысль может идти дальше. На Добролюбова и Писарева пример этот повторился еще раз. Не долго работал Добролюбов, да и работа его была довольно неблагодарная. Он должен был держаться сферы общих вопросов, а потому и употреблять средства сильные и крупные — может быть, вследствие того, Добролюбов должен был работать в сфере общих вопросов и молодое поколение оказалось неспособным идти дальше общих рассуждений и на них остановилось.—Добролюбов умирает; недоконченная мысль должна бы, повидимому, вызвать необходимость дальнейшей ее разработки; но молодое поколение думало иначе и, когда продолжателем Добролюбова явился Писарев, молодое поколение от него отвернулось.

А между тем Писарев был только дальнейшим продолжением той же русской мысли. Он был дополнением и поправкой того русского суждения,

которое выразилось в Добролюбове. Если бы со смертью Добролюбова не явилось ничего, умственный покой молодого поколения не был бы ничем нарушен и наступило бы затишье в роде того, какое наступило после Белинского. Судьба оказалась на этот раз благосклоннее к России и, вместо того, чтобы дать зреть русской мысли в тиши, она сейчас же по смерти Добролюбова послала ему на смену нового гласного представителя. Но молодому поколению это показалось ненужной и обременительной роскошью: оно было уже утомлено непривычной работой мысли и чувствовало полное бессилие даже и прежнему своему мышлению дать практическое применение.

Какими бы словами молодое поколение ни оправдывало свою верность добролюбовской традиции,—эта верность в сущности застой. Если вы останавливаетесь на традиции, на раз усвоенном вами мнении, не желаете ни проверить его новыми фактами, ни исправить своего суждения, значит ваша мысль отказывается от дальнейшей работы. Каким хотите красивым словом назовите это состояние, оно все-таки не что иное, как неспособность к дальнейшему развитию. Тут незачем маскироваться олимпийским презрением к летам нового проповедника и к той форме, в какой он выражает свою мысль; незачем ссылаться, что мы не того прихода. Говоря это, мы говорим другими словами, что нам не нужна истина. Если мы скажем, что Белинский и Добролюбов выразители русской мысли в разные моменты ее развития, мы этим самым говорим, что и Писарев есть тоже выразитель русской мысли в новом ее моменте; отрицая же законность появления Писарева, мы отрицаем законность Белинского и Добролюбова, отрицаем законность и последовательность собственного умственного существования. Писарев не нарост извне, не человек, свалившийся с луны, он такой же органический продукт русской мысли, какими были и все его предшественники. Писарев прямое последствие умственного пробуждения и движения, начавшегося у нас в 55-м году. Писарев зрел и развивался, когда Добролюбов уже действовал, но развивался на тех же основаниях, рос в той же умственной школе, из которой вышел Добролюбов. Поэтому, явившись в качестве критика-публициста, когда Добролюбов уже сошел со сцены, Писарев явился только продолжателем того же движения мысли. В пору своей силы Писарев ни разу не изменил направлению, которое началось Белинским и продолжалось Добролюбовым. Он пробивал дальше ту же самую тропинку.

Молодое поколение не поняло этого; оно усмотрело антагонизм в том, в чем его не было; ему нужны были имена и лица, а не логика; оно точно хотело, чтобы Добролюбов никогда не умирал, а если бы когда-нибудь это случилось, то чтобы Россия не смела выставить никого другого ему на смену. Став под знамя, когда его держал Добролюбов, молодое поколение не хотело стать под то же знамя, когда его держал Писарев, точно это знамя изменилось оттого, что оно не в прежних руках. Этой фанатической преданностию букве, а не духу и смыслу, молодое поколение показало, что оно толпа, как и всякая толпа, что прогрессивная роль им сыграна и что его должны сменить силы более свежие, более надежные, более способные к работе мысли. Явятся ли эти силы или нет в подрастающих—неизвестно, и пессимисты этого не думают, но верно то, что Писарев работал для этих сил, а не для молодого поколения.

Взглянув на Писарева, как на своего врага, молодое поколение не нашлось сказать против него ни одного дельного слова. В литературе и в обществе во всех спорах, которые велись за и против Добролюбова и Писарева, обнаруживалась только запальчивость и полное бессилие подняться выше формализма. Вместо того, чтобы определить смысл слов Добролюбова и Писарева, разъяснить, почему иногда в этих словах являлись противоречия и точно ли это противоречия, а не поправка или дополнение суждения, спорящие стороны бросились в личную оценку Добролюбова и Писарева,

стали измерять их циркулем, взвешивать на аптекарских весах, точно этот вопрос представлял какую-нибудь серьезную важность, точно стоит спорить о лице, если это не ведет к разъяснению сущности идеи.

В этом случае наше общество обнаружило снова свою старую мелочность и ту привязанность к букве, которая так грандиозно обнаружилась уже в русском расколе. Спор о мелочах заслонил главное, и нашумевшие борцы, натешившись в волю словами, вообразили, что они совершили подвиг. Разве это не те же щепетильности и пустяки, разве это не та же забота о повязывании галстука, которою уже корил раз Добролюбов русское общество? Ну, вот вам говорил и с в о й, а разве вы его послушали?

Ратоборцы, кинувшись в личную оценку Добролюбова и Писарева, свели спор к симпатии и антипатии. Ну, просто ухо привыкло слышать известный голос, глаз привык видеть известное лицо, а когда заслышался другой голос, появилось новое лицо, повязка галстука оказалась иного вида—люди привычки посыпали головы пеплом, закрыли глаза и заткнули уши: комедия кончилась и зрители разошлись опять. Вот и умственный прогресс молодого поколения!

Мы не отрицаем того, что со стороны формы между Писаревым и Добролюбовым есть громадная разница; в характере их сил есть тоже большие особенности. Но если бы молодое поколение было способно исправить свое суждение, оно бы поняло, что Писарев ему больше на руку, чем Добролюбов. И Добролюбов и Писарев, в сущности, оба популяризаторы: но Добролюбов говорит гораздо строже, точно он обращается к людям солидным и равным; Писарев говорит проще и пространнее. Эту простоту и пространность многие из привычки к сжатой речи Добролюбова приняли за недостаток основательности и порешили, что Добролюбов умнее Писарева. В манере Добролюбова, если хотите, есть нечто берневское, на которого он и походит по своему политическому мировоззрению; в Писареве же больше гейневской расплывчивости и многообразия. Добролюбов бил в ближайшую цель,—Писарев бил дальше и обнимал более широкий круг предметов. Добролюбов пишет иногда точно пришла пора действовать; Писарев знает, что действовать нечего и потому популяризирует. Добролюбов рассуждает; Писарев всегда учит. Добролюбов возится больше с обществом; Писарев — с лицом. Добролюбов указывает дорогу общественным стремлениям, Писарев заставляет задумываться над единичным поведением; Добролюбов хочет пробудить энергию, Писарев—научить думать. Добролюбов относится к окружающим явлениям сам критически. Писарев хочет научить относиться критически к жизни самого читателя. Добролюбов говорит и, поучая, прибегает к историческому приему изложения, ищет иногда подкрепления в эрудиции; Писарев всегда беседует, как учитель на кафедре, разматывая клубок мысли и научая процессу мышления. Добролюбов серьезен, сдержан, мало заботится о занимательности и форме, хотя и прибегает иногда к иронии; Писарев всегда думает о простоте формы и занимательности, подслащивает горькую правду и завертывает сухую истину в красивую бумажку; Добролюбов дает чувствовать свою страстность; убеждая, он возбуждает, горячит, злит; Писарев находит, что возбуждать страсть незачем; он переживает в себе все внутренние процессы и дает читателю готовый спокойный вывод. Добролюбов всегда задевает чувство; Писарев обходит его, зная только одного слушателя — ум. Добролюбов больше согреет; Писарев о согревании не заботится и скорее обольет холодной водой; Добролюбов действует через страсть на ум и верит в прогрессивные силы общества; Писарев не верит в эти силы и думает, что сначала нужно исправить суждение и научить мыслить. Добролюбов, допуская в молодом поколении известные силы, бережет их и не оскорбляет словом; Писарев,

не доверяя им, относится к ним с скептицизмом, переходящим иногда в презрение; Писарев точно хочет сказать: ну где вам, ребяташки, заниматься такими делами, лучше учитесь, да привыкайте думать. Добролюбов осторожен и многие предрассудки задевает только слегка и до некоторых авторитетов, как Пушкин, едва прикасается; Писарев запальчивее и отважнее и смело бросает перчатку всякому предрассудку и всякой рутине.

В деле личного вкуса, конечно, можно сказать, что такой-то нравится мне больше, а такой-то меньше. Но в деле мысли руководиться вкусом нельзя; тут только надо проверять суждение и принимать то, которое безошибочнее. Я не стану утверждать, что Писарев был всегда передовее Добролюбова и заслонял его совершенно; в Писареве было кое-что, чего недоставало Добролюбову, и в Добролюбове было кое-что, чего недоставало Писареву. Конечно, было бы лучше, если бы это кое-что взаимно пополнялось, но, подчиняясь факту, мы берем и Добролюбова, каким он был, и Писарева, каким он был. К Добролюбову влечет его политическая жилка: политический пульс бился в нем сильно; в Писареве же он скрыт и пробивается изредка.

Ни весами, ни циркулем мы не станем производить измерения сил Добролюбова и Писарева; мы не станем рассматривать их, как два противоположные и независимые начала, как две отдельные силы. Этот прием ведет не к пониманию, а, напротив, к непониманию. Добролюбов и Писарев—две равные силы одного происхождения, одной почвы, одного источника, одного времени; они, как две стороны одной медали, взаимно дополняют друг друга; они оба представители одной эпохи, того нового фазиса русской мысли, в который вступила Россия после Крымской войны. Следовательно, они не противники или враги, явившиеся разделить русское общество, а взаимно дополняющие силы, которые должны помочь русскому сознанию больше, чем взяты отдельно. Добролюбов и Писарев—знамения времени, и нам нужно не спорить из-за них, или делиться на партии и враждебные лагеря, а, напротив, видеть в одновременном их появлении характеристический признак нашей эпохи. У сороковых годов был только один Белинский и целая плеяда беллетристов; у нашего времени, напротив, несколько одновременно выдававшихся критиков и публицистов и почти ни одного беллетриста. Это признак более возмужалой зрелости целого общества, которое хочет слушать, поучаться и понимать, а не услаждать свой досуг. Литература становится не отдыхом или забавой, а аудиторией. Тридцать лет назад и Добролюбов и Писарев сделали бы романистами; в наше время они стали критиками-публицистами. Тридцать лет назад они удовлетворялись бы поверхностным воспитанием себя для беллетристики; в наше время они являются людьми, становящимися на уровень с современным европейским знанием. С новыми слушателями нужно говорит твердо, с полной уверенностью в свои силы.

Молодежь, которая по поводу Писарева и Добролюбова вступает в диспуты, обнаруживает только свою мыслительную слабость и свое непонимание ни Добролюбова, ни Писарева, ни основного духа их учения. Люди эти учили самостоятельности мысли. Они явились врагами авторитета не для того, чтобы их самих поставили на пьедестал и курили им фимиам. Переменной старых богов на новых молодежь показывает только, что она еще не окрепла в самостоятельном мышлении и идолопоклонствует по-старому. Читайте Добролюбова и Писарева не для того, чтобы спорить из-за них, а для того, чтобы понять их и укрепить свою мысль в том многообразии, которое дают вам оба эти мыслителя.

После этого довольно длинного вступления, без которого Писарев был бы неясен, я покажу читателю его значение для нашего времени и сущность тех мыслей, выразителем которых он явился. Читатель убедится, что для враждебного отделения Писарева и Добролюбова и для распадания поучающейся России на два враждебных лагеря нет никакой причины.

II

Непонимание Писарева шло у нас так далеко, что его укоряли именно в том, что составляет его главное достоинство. Были порицатели, которые заявляли в печати, что Писарев вовсе не критик, что он только перефразирует тех писателей, которых разбирает. Говорить такие наивности, значит смотреть в книгу, а видеть фигу. Для ясности прибавлю, что подобное порицание шло из лагеря эстетиков, которым Писарев очень любил надевать колпаки с погремушками.

В критико-публицистском поведении Писарева не было ни одного действия, которое не было бы обдуманно строго. Роль критика, как понял ее Писарев, состоит не в том, чтобы прикладывать к художественным произведениям различные статьи готового эстетического кодекса; она не в том, чтобы наблюдать за точным исполнением неподвижного закона. Критик—живой человек, который вносит и обязан вносить в свою деятельность все свое личное мировоззрение, весь свой индивидуальный характер, весь свой образ мыслей, всю совокупность своих человеческих и гражданских убеждений, надежд и желаний. При таком широком взгляде на роль критика, он является не мертвым формалистом, подобно эстетикам, придерживающимся одного вечного мертвого закона, а живым человеком, который будет решать вопросы так или иначе, смотря по тому, чего он требует от жизни и каким образом он понимает характер и потребности своего времени. Г. Николай Соловьев, которому так доставалось от Писарева, конечно, не мог простить Писареву такого воззрения на значение и роль критики³. Но так как в арсенале г. Соловьева нет ничего, кроме пустых слов, то и опровержение его приняло комический характер обвинения в том, что Писарев не сказал тут ничего нового и явился лишь раболепным последователем мыслителя, провозгласившего это учение ранее. Ну, конечно, г. Соловьев, до Писарева были у нас мыслители, а до этих мыслителей были мыслители на Западе и между этими мыслителями был Лессинг. Лессинг не разделял критики от жизни и постоянно учил самостоятельному и прогрессивному мышлению. Еще раньше Лессинга прогрессивному мышлению учили люди реформации, и когда один из кораблей отплывал из одной европейской гавани в Америку с первыми переселенцами, то пуританский священник, напутствовавший их, сказал им, чтобы они не застенели в церковных формах и были бы прогрессивны и в религии; а г. Николай Соловьев триста лет спустя не позволяет быть прогрессивными русским критикам, разбирающим литературные произведения!

Зная, что в России очень много Соловьевых, Писарев, определяющий себе критическую программу, говорит: «Мы бедны и глупы. Мы бедны—это значит, что у нас сравнительно с общим числом жителей мало хлеба, мало мяса, мало сукна, мало полотна, мало платья, обуви, белья, словом всех продуктов труда, необходимых для поддержания жизни и для продолжения производительной деятельности. Мы глупы—это значит, что огромное большинство наших мозгов находится почти в полном бездействии и что, может быть, одна десятитысячная часть наличных мозгов работает кое-как и вырабатывает в двадцать раз меньше дельных мыслей, чем сколько она могла бы выработать при нормальной и несколько не изнурительной деятельности... Но мы не идиоты и не обезьяны по телосложению, а люди кавказской расы, сидевшие сиднем подобно нашему милому Илье Муромцу и, наконец, ослабившие свой мозг этим продолжительным и вредным бездействием. Надо его зашевелить и он очень быстро войдет в свою настоящую силу». «Мы,—говорит Писарев в другой статье,—нуждаемся в решении самых элементарных вопросов жизни и нам некогда заниматься тем, что не имеет прямого отношения к этим вопросам. Мы жить хотим и, следовательно, назовем дея-

телем жизни, науки и литературы только того человека, который помогает нам жить, пуская в ход все средства, находящиеся в его распоряжении».

И вот Писарев пускает в ход все средства, находящиеся в его распоряжении; он направляет всю свою деятельность, чтобы будить и шевелить спящий русский мозг, чтобы заставить его присматриваться к окружающим его явлениям, ко всем мелочам наших будничных, семейных и общественных отношений. Каждый роман, каждая повесть, каждое литературное или ученое произведение, по поводу которых говорит Писарев, служат ему только для того, чтобы разбирать и выворачивать на все лады нашу жизнь, чтобы самым инквизиторским образом подкапываться под поведение героев, чтобы разобрать и рассортировать все их действия, показать дрянность, глупость, пустоту.

В своем критическом приеме Писарев всегда суров и холоден. Он, точно анатом, рассекает хирургическим ножом разбираемые им лица на глазах читателя; преследует их самым холодным анализом и затем подводит итог; и поступает Писарев таким образом не случайно, не по вдохновению, а по строго обдуманному плану поведения. Он говорит, что как историк разлагает каждое явление на его составные части, изучает каждую часть отдельно, определяет все составные элементы и выводит общий результат, так точно должен поступать и критик. «Вместо того, чтобы плакать над несчастиями героев и героинь; вместо того, чтобы сочувствовать одному, негодовать против другого, восхищаться третьим, лезть на стену по поводу четвертого, критик должен сначала заплакаться и пробесноваться про себя, а потом, вступая в разговор с публикою, должен обстоятельно и рассудительно сообщить ей свои размышления о причинах тех явлений, которые вызывают в жизни слезы, сочувствие, негодование или восторги. Он должен объяснять явления, а не воспевать их; он должен анализировать, а не лицедействовать». И этому приему Писарев никогда не изменяет. Вы, пожалуй, можете не согласиться с его анализом—это ваше дело; но вы и не согласитесь-то только оттого, что Писарев расшевелил ваш мозг и заставил вас думать. А этого только и добивался Писарев. Его задача помогать развитию, давать материал для размышления, предлагать полезные знания, свежие и живые идеи, расширять взгляд, сообщать сознательное гуманное направление.

Хоть глупо думайте, но только думайте по-своему, читается иногда как бы между строк у Писарева. «И то хорошо, что начинают думать по-человечески»,—говорит он в «Стоячей воде». Я вижу, как враги Писарева приходят в восторг и ликут от таких глупых, по их мнению, советов. Как? поборник ума, поборник знаний, который только о том и хлопочет, чтобы люди были умны, позволяет им думать глупо? Но обратите внимание на то, с каким материалом приходилось возиться Писареву. Все герои и героини, которых предлагали ему беллетристы, изображали собою самую неисходную и безнадежную тупость. Ни один человек не умеет устроить свою жизнь мало-мальски сносно; все это гибнет в бездонном омуте и в стоячей воде или течет по течению, даже и не предполагая, что может быть иначе. Ни мужчины, ни женщины—никто не понимает друг друга и своих взаимных отношений. Семья превращается в какой-то вертеп, в котором все чувствуют себя несчастными, и в то же время нет ни у кого ни сил, ни способностей устроиться иначе и не погрязнуть в общей помойной яме. Укажите хотя на одного беллетриста сороковых годов, который бы отметил какое-нибудь светлое явление русской жизни: — бедность да бедность, бедность умственная и материальная, говоря все они на разные лады. Если у Тургенева и являются иногда более светлые личности, то, во-первых, они идеальные, а во вторых, они все-таки гибнут в том же болоте, в котором тонут и задыхаются герои Писемского. Если бы вовсе не видеть живых людей и судить

о русском человеке исключительно по русским романам, то, право, можно впасть в самое безнадежное и мрачное отчаяние. И весь этот мрак и вся эта безысходность только оттого, что ни в одной голове не шевелится трезвая мысль и мечтательность вытесняет мышление. Все только мечтают, но никто не думает; все несколько сродни Обломову, и все более или менее лежат празднично на диване и услаждают свой досуг картинами разных наслаждений, в которых каждый по-своему воображает свое счастье. Никто не в состоянии понять, что жизнь есть дело, дело трудное и суровое, что она захламощена всякими препятствиями, которые не только нужно устранить, но и надо знать, как устранить. Люди, повидимому, оттого и мечтают, что в мечте находят единственный выход. Но никто никогда не заглядывает в себя, никто не проверяет в себе ни одного процесса мысли, ни одного чувства. Истинная стоячая вода во всем величии своей безбрежности и невозмутимой тиши! Среди такого полного отсутствия мыслительности первый благо-разумный и спасительный совет, который следует дать обществу, будет, конечно, тот, который дает Писарев. От детей, конечно, никто не потребует, чтобы они сразу стали думать как взрослые. Но следует требовать, чтобы они думали. Спасительный исход только в том, чтобы выучиться думать и относиться критически к жизни. От каких причин это самоунижение, дряньность, упадок сил при первой обманутой надежде, при первом разочаровании? Только оттого, что люди привыкли мечтать и не привыкли думать. Не умея думать, они не умеют устраивать свою жизнь, а не умея устраивать свою жизнь, они не умеют застраховать себя от случайностей, не приготовлены к ним, не в состоянии ни встретить их с мужеством, ни еще меньше бороться с ними. Отчего, например, какой-нибудь Бешметов и, не чета ему, Лаврецкий чувствуют себя разбитыми, когда мечты их о супружеском счастье рассеялись? Разве не оттого, что ни тот, ни другой не умели смотреть трезво на жизнь и никогда не думали о ней в таком виде, в каком она есть. Люди эти сами наложили на себя руку или, как выражается Писарев, сами положили ее на раскаленное железо и заплакали, когда обожглись. А если бы и в самом деле случился обжог—разве в нытье выход, разве в слезах выход, разве в пьянстве выход, разве в малодушном отчаянии выход? «В мысли выход,—говорит Писарев.—Человек твердый и решительный разорвет всякую связь с своим неудавшимся прошлым; он поймет, что умный человек может быть счастлив собственными силами, и в освобождающем труде мысли найдет полное утешение, достойное развитого человека».

Если русское общество погрязло в рутине и дошло до того состояния, в котором его рисуют романисты, только оттого, что никто никогда не думал по-человечески, то ясно, что все спасение его и спасительный выход для отдельного человека в том, чтобы научиться мыслить. «Думайте, думайте, думайте, — говорит на всякие лады Писарев, — но я знаю, что вы не привыкли к головной работе, и я вам помогу». И, действительно, помогает. Более настойчиво, чуть не навязчиво, едва ли кто стал бы пользоваться своими критическими средствами, как это делает Писарев, чтобы разъяснить читателю положение и умственное состояние разбираемых героев. Он подходит к ним со всех сторон, чуть не выворачивает наизнанку, чтобы показать читателю, в чем заключаются ошибки, от которых герои страдают и чувствуют себя несчастными. Результат оказывается всегда один—они не умеют думать, не привыкли соображать, никогда не относились критически к жизни, к себе и к другим.

Но пользуясь своими критическими средствами как свободным личным правом, неподдаваемым никаким авторитетом, никакую рутину и мертвую буквой, Писарев хочет, чтобы каждый, кого он учит думать, был так же свободен, как он. В мире мысли—спасение человека, его выход из всех труд-

ных положений жизни; только в мире мысли личность достигает полного своего развития и становится на высоту истинного человеческого достоинства; только в мире мысли личность достигает истинной свободы. Тот не свободен, кто подчиняется авторитету, и тот не мыслит, кто думает по-чужому. Думайте хоть глупо, но думайте по-своему. Начавши глупо, но идя своим путем, человек может додуматься и до умного, но следуя за чужой головой, он на всю жизнь останется ребенком. Чужие мысли только материал, который каждым должен быть переработан по-своему. Труды великих писателей точно такой же сырой материал, который должен быть переработан и усвоен. Если процесс такого усвоения в человеке не совершается, он дитя и умственный раб. Уча читателя думать активно, а не пассивно, Писарев приходит к тому, что даже в литературных типах видит опасность для самостоятельного мышления. «Таких форм, таких типов, — говорит Писарев, — на которых, действительно, можно было бы успокоиться и остановиться, еще не выработала и, может быть, никогда не выработает жизнь. Те люди, которые, отдаваясь в полное распоряжение какой бы то ни было господствующей теории, отказываются от своей умственной самостоятельности и заменяют критику подобострастным поклонением, оказываются людьми узкими, бессильными и часто вредными. Поступить таким образом способен Аркадий, но это совершенно невозможно для Базарова».

К сожалению этот урок Писарева не был усвоен и мы видели еще не так давно, как молодое поколение облачалось в хитон Базарова и этим фактом, между прочим, обнаружило ту слабую мыслительность, о которой мы уже говорили. Подрастающее поколение будет, конечно, счастливее в этом отношении. Для него Базаров не неизвестное, внешнее, а известное внутреннее содержание. Базаров, если он живой человек, — живой человек начала шестидесятых годов и для подрастающего поколения не больше, как известная идея. В нем отразился крутой поворот русской мысли, объяснителем которой явился Писарев. Оттого-то писаревский Базаров и не похож на Базарова тургеневского. Базаров Писарева есть его собственная идея и более зрелая мысль, очищенная и профильтрованная сквозь мировоззрение самого Писарева. Писаревский Базаров вышел таким образом лишенным своей оболочки, лишенным формы, которой подражать легко, потому что для этого требуется только способность копирования. Дав только идею Базарова, его духовный образ, Писарев остался верен тому учению о свободном и самостоятельном мышлении, которое он проповедывал. Писарев не дает форму, не дает готовое платье, которое можно напичкать каким угодно содержанием. Он, напротив, дает содержание, которое может быть усвоено всяким и, следовательно, выразится у всякого в его индивидуальной, личной форме. Мы бы советовали подрастающим вдуматься и вчитаться во все то, что говорит Писарев о Базарове и по поводу его в разных статьях.

III

Надежды Писарева не оправдались. Он хотел научить молодое поколение думать, но, конечно, не достиг этого. Случилось даже великое недоразумение, в котором молодое поколение пребывает до сих пор и в которое оно затягивает за собой поколение подрастающее. «Надо сказать правду, — говорит Писарев, — что люди вполне умные и люди безнадёжно пустые во всех человеческих обществах почти одинаково редки. Огромное большинство состоит везде из людей посредственных, которые с одной стороны пороку не выдумают, но с другой стороны сальных свеч не едят, стеклом не утираются. Эти люди могут быть деятельными или праздными, гуманными или жестокими, полезными или вредными, смотря по тому, в какую

сторону направляется в данную эпоху господствующее течение идей. Ходячие фразы имеют значительное влияние на это человеческое стадо и важнейшая задача здоровой и честной литературы заключается именно в том, чтобы всегда пускать в обращение такие фразы, которые в данную минуту могут действовать благотворно на ум и на волю бесцветных и несамостоятельных людей, составляющих большинство».

Одной из таких спасительных фраз оказался ум. Когда было порешено, что все бедствия старой России происходят оттого, что у нее не было знаний и она не умела думать, молодая Россия решилась знать и быть умной и, вообразив себя Базаровым, отнеслась презрительно ко всему старому. Как прежде все были глупы, так теперь все стали умны и ум явился магическим ключом для всех тайников жизни. Но не следует обольщаться на счет истинных умственных богатств молодой России. Произошел не больше как маскарад: старую глупость немножко подновили, кое-где заштукатурили и подкрасили и затем наклеили на нее новый ярлычок с надписью: у м. Каждый носитель ярлычка преисполнился великой гордости и от ума не стало прохода, так его сделалось внезапно много в обширном русском царстве.

Писарева, конечно, винить тут не в чем. Он указал на старое зло: он помогал мышлению; он всеми своими средствами старался возбудить в людях привычку к мысли и размышлению и если, в конце концов, оказалось, что человеческое стадо очень велико, а вполне умные люди редки, то в-первых, это знал очень хорошо и сам Писарев, а во-вторых, тот неожиданный результат, к которому пришла новая Россия, нужно отметить как факт и позаняться им.

Если девочка, ходящая еще в панталончиках, начинает думать, в ней работает, конечно, ум. Если Добролюбов пишет «Темное царство», в нем работает ум; если Писарев пишет «Реалистов», в нем работает тоже ум. Когда г. Страхов⁴ доказывает, что Стюарт Милль дурак и русский женский вопрос выдуман им, а вовсе не Россией, в нем работает тоже ум. Когда г. Николай Соловьев писал свои возражения против Добролюбова, Писарева и других, в нем работал несомненно ум. Когда молодое поколение отрицало Писарева и логически доказывало его негодность—в нем работал тоже ум. Итак, оказывается, что между г. Страховым, г. Николаем Соловьевым, гг. сотрудниками «Русского Вестника», маленькой девочкой в панталончиках и между Добролюбовым и Писаревым нет никакой разницы: все это умные люди.

Но думать, что Писарев говорил об этом уме—значит клеветать на него. Писарев, напротив, постоянно боролся против самозванного ума, он был вечным врагом всякой бездарности и ограниченности, но ведь что же поделаешь с несчастной ограниченностью, если она внезапно вообразит себя умом и гениальностью. Писареву отлично знал, непроходим еще лес длинных ушей на земном шаре вообще и в нашем милом отечестве в особенности. Он указывает на людей, имеющих слабость чужую руководящую идею высказывать своими словами, они «изобретают сами различные приставки и украшения, воплощают идею в карикатурные образы и наконец доводят ее до такого жалкого бессилия, что всем мыслящим защитникам этой идеи приходится или краснеть за своих непрошенных союзников, или отталкивать их от себя с тем суровым презрением, с которым Базаров относится к своему обожателю Ситникову». Вот это то самое именно и случилось, когда людям сказали, что ум есть то новое спасительное слово, которое должно обновить Россию. Все заговорили об уме и всякая тупица вообразила себя грановитой палатой мудрости. Карлики надели на себя маски и явились смешными карикатурами того самостоятельного мышления, которому они благоговейно поклонялись в лице таких людей, как Писарев:

и Добролюбов. Дряньность самозванного ума помешала ему переступить через рубикон, отделяющий его от глупости. У человеческого стада все в голове перепуталось: дряньный, слабый ум парализовал чувство, дрянное, дряблкое, робкое чувство парализовало ум. По поводу г. Н. (Ася) Писарев говорит: «Воспитание ослабило его тело и набило мозг его идеями, которых тот не может осилить и переварить. У него нет физического здоровья, физической силы, физической свежести; это — ходячая теория, человеческая голова на курьих ножках». Ум подобных людей занят всегда пустяками и набивается чем попало: интригами, сплетнями, преферансовыми соображениями, размышлениями о новой прическе или о новом фраке, изобретением какого-нибудь нового надувательства, мошенническими соображениями денежного свойства в роде злостного банкротства. По этой безразличной теории ума герои «Темного царства» окажутся гениями, и между Подхалюзиным и Большовым, с одной стороны, и Ньютоном и Робертом Оуеном, с другой, — исчезает всякая граница.

При таком понимании ума и умных людей становится совершенно невозможным разуместь друг друга. Кто умен, кто глуп? Всякий мошенник, рассуждающий логично, превращается в умного человека, и слово умный человек оказывается лишенным всякого определенного смысла, уподобляется какой-то бездонной яме, в которую сваливается безразлично все полезное и вредное: Чингисхан и Магомет, христианские проповедники и их гонители, Наполеон и Вашингтон, сторож губернского правления и Дарвин. Это уж что-то очень безгранично широко; такую выгодную теорию ума могло выдумать только в свою пользу молодое поколение, но ее никогда не проповедывал ни Писарев, ни Добролюбов, никто другой. Не ясно ли, что не всякий ум есть ум и что на счет точного определения ума следует условиться.

Если умом называть только процесс мышления, то на свете, конечно, не будет дураков, но едва ли люди станут оттого умнее и жить станет лучше. Г. Страхов и г. Соловьев рассуждают логично, рассуждает логично и О. Конт. Но отчего же г. Страхов и г. Соловьев, взятые даже вместе и в квадрате, окажутся меньше Конта? Очевидно, что слово ум слишком не точно и дает широкий простор для произвольных толкований. Поэтому-то каждый и объясняет его по-своему. Если Большову говорят, что такой-то приказчик умен, он в своем воображении нарисует немедленно Подхалюзина. Если приказному скажут, что такой-то писарь умен, он сейчас же вообразит канцелярского пройдоху. Если великосветской барышне скажут, что такой-то NN умен, она немедленно вообразит ярко освещенную залу и себя в мазурке с этим умным кавалером. Нужно согласиться, что особенно смутное понятие об уме имеют у нас еще и до сих пор барышни. Фраза, софизм, эквилибристика, всякие фокусы и красивое вранье принимается не только этими барышнями, но и большинством женщин за ум чистой червонной пробы. Таким образом оказывается на свете столько сортов ума, сколько голов, сколько разных стремлений, желаний, чувств. Есть люди военного ума, есть люди гражданского ума; есть люди литературного ума и ума канцелярского; есть люди с умом семейным и с умом общественным, с умом коммерческим и промышленным и с умом ни на что негодным. Если таким образом ум может быть полной непригодностью, то исчезает для умных людей всякая возможность гордиться тем, что они умны и сказать, что такой-то человек умен, значит не сказать о нем ничего. И в самом деле, какой точный образ возникает, если вам скажут, что г. N из Стерлитамака умен. Дело другое, если вам скажут, что г. Писарев умен, что г. Добролюбов умен. У вас немедленно возникает самое точное представление об этих людях; вы припоминаете все, что они писали, что думали, к чему стремились, чего хотели достичь, чему поучали. Образ возникает полный, но

вы, я думаю, и сами видите, что в чертах этого образа уму нет места; он какая-то отвлеченная сила, имеющая значение не сама по себе, а по связи с чем-то другим, что дает ему содержание. Содержание это дается только объемом полезной мозговой деятельности, возможно широким кругозором и возможно большим количеством материала, который приходится перерабатывать уму, работающему в направлении общественного блага. Одна и та же мыслительная способность, но смотря по кругу и по направлению деятельности, может быть умом и может быть глупостью. Это такой же фокус, как принятое в общежитии деление теплоты на холод и теплоту. Собственно холода на свете нет, и люди для ясности условились известную теплоту называть холодом. Такое же условное деление принято и с умом. Известный минимум его зовут глупостию, не отрицая в то же время ума не только в идиоте, но даже в собаке. Этот минимум не имеет ничего определенного и меняется по мере развития общества. Есть люди умные по-старому, есть люди умные по-новому. Тот, кто пятьдесят лет назад был умным человеком, нынче изображал бы очень печальную и молчаливую фигуру среди людей молодого поколения.

В последние пятнадцать лет русский ум получил больше содержания. Для обработки достался ему материал более богатый; людям пришлось больше шевелить мозгами, потому что многих жизнь вытолкнула на улицу и для всех изменились против прежнего условия существования. Благодаря экономическому повороту в русской жизни и той настойчивости, с которой даже и Писарев говорил о нашей бедности, — предполагая тех, кому действительно холодно и голодно — мы все вообразили себя бедными и русский ум двинулся думать в экономическом направлении.

Наш экономический прогресс очень сильно перепутал наши понятия и дал всей жизни тот особенный оттенок, по которому не трудно видеть, что наше общество, и преимущественно молодое поколение, весьма твердо пошло по тому пути, который создал европейскую буржуазию. Этот новый русский тип беллетристы сороковых годов не знали, потому что для него не было почвы, хотя материалы кое-какие уже существовали. Новый тип появляется не из мещан, которые, по предположению русских реформаторов XVIII столетия, должны были изображать русское третье сословие, а из обедневших дворян и разных разночинцев, формирующих образованный пролетариат. Переколачивание — есть печальный факт, поразивший именно молодое поколение. Это его горькая судьбина, его проклятие, которое оно должно вынести на себе. Особенною тяжестью легло это проклятие на тех, кому выпало на долю провести обеспеченное детство и юношество и столкнуться с суровой нуждой в зрелом возрасте. Молодому поколению досталось переживать самый трудный переходный момент, момент экономическое перелома, момент, когда уже невозможно жить по-старому и когда невыяснившийся еще новый экономический быт ставит каждого в необходимость искать и создавать, т. е. переработать запас новых мыслей и обратить их в иную новую практику. Общие воззрения, почерпнутые из Добролюбова, были только общими воззрениями, с которыми следовало справиться. Непереработанные, они как сырой материал не спасали; печальная действительность и традиция гнули людей сильно и заставляли их впадать во внутреннее противоречие. Несходство слова с делом становилось при таком положении необходимым и вот где начало либерализма, которым люди усиливались спасти хотя остатки своего человеческого достоинства. Либерализм вышел красивой, идеальной вывеской нравственно упавшего человека.

Этого нового типа, человека с благоприличной внешностью, говорящего умно и благородно, но которого все силы направлены на стяжание, но стяжание замаскированное, Писарев еще не знал. Но не зная типа, Писарев все-таки знал по образцам из крепостного быта, как выделяются люди,

живущие эксплуатацией. «Эксплоататор, — говорит Писарев — находится в постоянной наступательной войне со всем окружающим. Для войны необходимо оружие и таким оружием оказываются умственные способности. Ум эксплуататора почти исключительно прилагается к тому, чтобы перехитрить кого-нибудь. Он заостряется, закаляется, развивается исключительно в одном направлении и получает качества, совершенно не нужные и даже вредные для успешного хода мирного мышления. Этот ум делается непременно близоруким и мелким; обобщать факты он решительно не умеет; отдавать себе отчет в общем положении вещей и придавать поступкам человека какой-нибудь общий смысл он также не в состоянии. События уносят его с собой и величайшая мудрость его состоит в том, чтобы не противиться их течению, которого он все-таки не понимает». «Когда такие люди руководствуются расчетами своего ума, то можно сказать заранее, что эти расчеты заставят их сделать какую-нибудь гадость, потому что эти расчеты близоруки, а внушения узкого и близорукого эгоизма всегда подадут повод к самым возмутительным несправедливостям». У людей этого сорта голос чувства и голос рассудка находятся в постоянном разладе и потому они во избежание дисгармонии всегда заставляют молчать один из этих голосов, когда говорит другой.

Здесь-то Писарев и переходит на почву того чувства, которое составляет подкладку ума, руководит умом и из гармонии которых выходит обновленный, чистый человек, тип тех новых людей, о которых говорит Писарев в своей статье «Мыслящий пролетариат». «Кто в молодости не связал себя прочными связями с великим и прекрасным делом или, по крайней мере, с простым, но честным и полезным трудом, тот может считать свою молодость бесследно потерянной, как бы весело она ни прошла и сколько бы приятных воспоминаний она ни оставила», — говорит Писарев. — «Заберите с собою чувства молодости, после не подымете, — говорит Гоголь, и правду он говорит. А как их заберешь с собою, если не вложить их целиком в такое дело, на которое до последней минуты твоей жизни будет откликаться каждая фибра твоего существа. Кому удалось это сделать, о том нечего жалеть, если даже молодость его прошла в суровом труде, вдали от дорогих и близких людей, без наслаждений, без объятий любимой женщины... Если ценою труда и лишений, ценою потраченной молодости, ценою потерянной любви он купил себе право глубоко и сознательно уважать самого себя, право унести с собою на край света и удержать за собою во всех испытаниях неизменную молодость и свежесть ума и чувства, то нельзя сказать: он заплатил слишком дорого. Он отдал кусок жизни, чтобы по-человечески прожить всю жизнь: он лишился двух третей радостей, но взамен их получил высшее наслаждение, которое служит украшением для жизни и поддержкою в минуту агонии; он получил право знать себе настоящую цену и видеть, что цена эта не мала». Вот где начало того благородного эгоизма, который проповедует Писарев. Этот эгоизм лежит в любви к ближнему, в хороших и великодушных чувствах, в способности проникаться чужими страданиями и жертвовать им своими наслаждениями и своими выгодами. Только ту способность назовем мы умом, которая помогает человеку думать в этом направлении. Новые общественные идеалы подняли значение ума и расширили ее пределы. Истинно умным человеком можно назвать только того, который думает в направлении общего блага. Как бы ни была сильна логика отсталости, эта логика все-таки не ум и пора развенчать этого самозванца. Прекрасный идеал доброго и честного человека никогда не исчезал с земли, но он только окрашивался разными цветами под влиянием направления времени. Нашему времени выпала на долю большая работа с сырым материалом, накопленным в течение веков мыслящими умами, пытавшимися понять и осветить жизнь. Для этой работы требуется, конечно, большая энергия мыслительных способностей, и в какую бы одну

сторонность они ни ударились, это будет всегда ограниченность, умственное бессилие и недостаток честных чувств. Писарев говорит в одном месте, что задача честной литературы в том, чтобы всегда пускать в обращение такие фразы, которые в данную минуту могут действовать благотворно на ум, волю и чувство несамостоятельных людей, составляющих человеческое стадо. «Не смущайтесь, — говорит он, — словом ф р а з а. Каждая фраза появляется на свет как формула или вывеска какой-нибудь идеи, имеющей более или менее серьезное значение; только впоследствии под руками бесцветных личностей фраза опошляется и превращается в грязную и вредную тряпку, под которой скрывается пустота или нелепость». Не сделался ли этой ветхой тряпкой лозунг ума, под которым уже пятнадцать лет идет молодое поколение и пришло только к буржуазным тенденциям. Не пора ли нам снять ярлычок ума и заменить его новым паролем — честности и гуманности? Честные и гуманные люди всегда умны; умные же не всегда честны и гуманны. По крайней мере, исчезнет недоразумение и двусмысленность не будет мешать правильной оценке общественной полезности каждого человека.

IV

«Мы глупы, потому что бедны — и бедны, потому что глупы». Из этого очарованного круга нет, повидимому, выхода. Но выход есть — знание. Мы ничего не знаем, хотя, повидимому, все знаем. «Имеем ли мы какое-нибудь понятие о животных и растениях, о физических и химических законах, о свойствах воды, воздуха, металлов и различных составных частей почвы? — спрашивает Писарев, — ровно никакого. — Знаем ли мы их историю? — Нисколько. — Известно ли нам положение России? — Решительно неизвестно. И в то же время при этом круглом невежестве мы все знаем, мы знаем ужасно много, мы все читаем и обо всем пишем». Зная, повидимому, много: всякие собственные имена и всякие специальные слова, мы не знаем немногого — только смысла этих слов. Что же тут делать? Благодаря предшествовавшей литературе, Белинскому и Добролюбову, была уже пробита кора равнодушия, невнимания и непонимания, общество готово было читать и начало стремиться к самообразованию. Между теоретическим знанием и вседневной жизнью явилась уже точка опоры и нужны были только посредники, чтобы общество из громадного научного материала могло бы усвоить то, что ему необходимо. Явилась необходимость в популяризаторах. «Можно сказать без малейшего преувеличения, — говорит Писарев, — что популяризирование науки составляет самую важную всемирную задачу нашего века. Хороший популяризатор, особенно у нас в России, может принести обществу гораздо больше пользы, чем даровитый исследователь». И вот, понимая таким образом все важное значение для нашего общества популяризации, Писарев принимается за этот труд с такой же энергией, с какой он разбирал явления русской жизни. По истине изумительная деятельность по ее силе, многообразию и энергии! В деятельности Писарева есть одна особенность, резко отделяющая его от Белинского и Добролюбова. Посмотрите, сколько написал на своем веку Белинский и сколько в этом писании балласта, на который только даром потратились силы могучего бойца. Сколько пустых рецензий и разборов нелепых книг приходилось сделать Белинскому и как мало у него цельных капитальных статей, имевших воспитательное значение. Добролюбов идет еще частию путем Белинского; он тоже тратится на рецензии и держит себя довольно строго в пределах литературной критики, которые он себе отмежевал. Положим, что в его рецензиях всегда есть много и много превосходных и честных мыслей, но это все-таки рецензии, а не руководящие статьи. Писарев идет совершенно

самостоятельным путем, вполне оторвавшись от традиции. Он не тратит своих сил на рецензии и если попадает ему под руку какое-нибудь глупое произведение вроде «Марево», или романов Станицкого⁵, он пользуется ими как материалом, чтобы высказать целый ряд умных мыслей в большой руководящей статье. Это зависело вовсе не от тех условий, в которых находилась русская литература, а чисто от цели, которую задался Писарев. Он пользовался своими силами с той экономией, которая была необходима, чтобы принести обществу наибольшую пользу. Рецензия второстепенных или ничтожных произведений не есть работа капитальная и не зачем могучим критикам тратить на них свои силы, когда на ту же работу способны и писатели второго сорта, которым ее можно поручить. Если Белинскому не было, может быть, кому поручить эту работу, то у Добролюбова эти сподручные работники были. Характер деятельности Добролюбова, конечно, объясняется тем, что при нем еще не выяснились вполне требования общества, которые были уже ясны при Писареве.

Писарев давал такое громадное значение популяризации, что даже выработал себе тот язык и создал ту форму изложения, в которой близорукие люди видели совсем не то, что видеть следовало. Популяризатор, по воззрению Писарева, должен быть художником слова и в то же время знать степень умственного развития своих читателей. «Если неразвитость общества требует, чтобы наука являлась пред ним в арлекинском костюме с погрешками и с бубенчиками — это не беда; такой маскарад несколько не унижает науку. Дельная и верная мысль все-таки остается дельною и верною. Главное дело в том, чтобы мысль эта проникла в сознание общества, а чрез какую дверь и какою походкою — это решительно все равно». Если вы желаете определить размер популяризаторской деятельности Писарева, прочитайте хоть оглавления его статей и вы увидите, какую массу новых сведений по истории, по естествознанию провел он в читающую публику. Это громадный универсальный курс.

Конечно, на Писарева обрушился тот сорт обскурантов, которых он зовет «проницательными читателями» и к числу которых он причисляет большинство профессоров и журналистов всех наций. К этому хору присоединились еще и сторонники Добролюбова, находившие, что Писарев делает глупости и берется не за свое дело. В сущности же эти ограниченные люди просто не могли понять, как это можно думать своею головою и делать то, чего не делал Добролюбов.

Но время доказало всю безошибочность Писарева. Люди, никогда ничего не читавшие, зачитывались его популярными статьями. Писарев, может быть, больше всех писателей нового времени распространил в непробужденной части общества познаний и идей, которые иначе остались бы под спудом и с которыми русское общество не познакомилось бы из Добролюбова.

Писарев был так убежден в необходимости популяризации и в том, что каждый сильный ум не может не понимать пользы ее, что говорит о Добролюбове: «Если бы Добролюбов был жив, то можно поручиться за то, что он бы первый понял необходимость у нас популяризации и оценил бы те выгодные условия и обстоятельства, в которых мы находимся. Говоря проще, он посвятил бы лучшую часть своего таланта на популяризирование европейских идей естествознания и антропологии». В том же 1864 г. Писарев советовал г. Щедрина перестать тянуть попрежнему старую ноту, завещанную ему его молодым учителем и, вместо того, чтобы своим однообразным и невинным хихиканьем отвлекать от настоящего дела некоторую часть нашей умной и свежей молодежи, приняться за популяризацию.

Чтобы отрицать пользу популяризаторской деятельности Писарева, нужно не выезжать всю свою жизнь с Васильевского острова. Но кто видел

Н. В. ШЕЛГУНОВ
 Фотография 60-х гг.
 Институт Литературы, Ленинград



Россию, тот знает, насколько статьи Писарева принесли пользы в тех глухих и не глухих местах, где имелись люди, жаждавшие знания, и куда свет проходил только статьями Писарева. Особенно благоговейно относились к Писареву женщины. Женщины! скажет презрительно пронизательный читатель. Но мы знаем этих пронизательных читателей из молодого поколения. Мир вашему праху — это не ваши вопросы.

Потребности нашего общества в популяризации как бы совпали с периодом деятельности Писарева. То было самое блестящее ее время, когда целая масса новых сведений была брошена читающей и поучающейся публике, благодаря таланту и энергии одного человека. Время это теперь уже миновало или, вернее сказать, пору энтузиазма и первого невежества сменило более холодное время и второй период невежества. Популяризации нет предела — изменяется только ее форма и переменяется содержание. Что и теперь общество относится горячо к талантливой популяризации, могут служить доказательством статьи г. Португалова⁶, который, к сожалению, дает их мало. Появление нового журнала «Знание»⁷ указывает на ту же потребность; но если журнал этот читается туго, а может быть скоро и совсем читаться не будет, то уж, конечно, не по вине читателей.

V

Писарев работал в обстоятельствах, очень неудобных для литературной деятельности: но он носил в себе гений времени и потому был замечательно чуток к умственным потребностям общества. Вся его деятельность есть постоянный ряд ответов на вопросы и запросы пробуждавшегося общественного сознания. Писарев читал русское общество как открытую книгу. Конечно, не он создал общественные потребности, но он освещал направление, которым следовало идти пробуждавшимся силам, и помогал их развитию. На этом поприще мы не знаем у нас другого деятеля, которого труд был бы

также обширен, плодотворен и полезен, как труд Писарева. Только один читатель стоит в этом отношении впереди, но это не Добролюбов.

Человек страстный и пылкий, но в то же время смелого, холодного и неподкупного ума, Писарев был всегда последователен и доводил свою мысль до конца. В этом отношении Писарев был далеко смелее Добролюбова, который иногда искал примирения и как бы боялся задевать застарелую рутину. Так у Добролюбова есть уже намек на то, что Пушкин устарел; Писарев же, идущий дальше, пишет целую статью о Пушкине, в которой доказывает решительную непригодность Пушкина, отсталость его даже и для его времени, разоблачает его фразерство и пустоту. Евгения Онегина—«эту энциклопедию русской жизни», как назвал поэму Пушкина Белинский, Писарев называет «яркой и блестящей апофеозой самого безотрадного и самого бессмысленного status quo». «Все картины этого романа, — говорит Писарев, — нарисованы такими светлыми красками, вся грязь действительной жизни так старательно отодвинута в сторону, крупные нелепости наших общественных нравов описаны в таком величественном виде, крошечные погрешности осмеяны с таким невозмутимым добродушием, самому поэту живется так весело и дышится так легко, — что впечатлительный читатель непременно должен вообразить себя счастливым обитателем какой-то Аркадии, в которой с завтрашнего же дня непременно должен водвориться золотой век».

Когда явилась статья о Пушкине, все эстетика школы Белинского возопияли против смелого критика. И действительно, было от чего вопить. Люди дожили до седых волос, повторяя на память слова Белинского, и вдруг оказывается, что это был потерянный труд. Значит вся жизнь пропала даром! ну как же не рассердиться. А между тем в сущности огорчаться было нечем. Идей Белинского Писарев не трогал; он только взглянул иначе на Пушкина и на его «Евгения Онегина» и рассортировал то, что принадлежало Белинскому, от того, что принадлежало Пушкину. Писарев знал очень хорошо, как иногда известное литературное произведение служит для критика лишь поводом высказать свои собственные мысли. Также поступил и Белинский, разбирая Пушкина. Белинский, как говорит Писарев, рассыпал в статьях о Пушкине множество самых светлых мыслей о правах и обязанностях человека, об отношениях между мужчинами и женщинами, о любви и ревности, о частной и общественной жизни. Но вопрос о Пушкине остался в стороне, ибо все эти мысли целиком принадлежали Белинскому, а Пушкин был в них неповинен и говорил не то. В чем же тут оскорбление для поклонников Белинского; ведь они поклонялись Пушкину идеальному, Пушкину, одухотворенному гением Белинского; этот Пушкин при них и остался. Что же касается до Пушкина настоящего, то об нем Белинский не говорил, и первый подробный разбор о нем написал Писарев.

Насколько Писарев оказался верен духу времени в своем разборе Пушкина, показало это же самое время. Писарев, как он говорит, приступая к разбору Пушкина, хотел только высказать прямо и открыто и подкрепить фактическими доказательствами то мнение, которое уже многие мыслящие люди составили себе о Пушкине и о всех поэтах и художниках его школы. Что же оказывается? А оказывается то — и этот факт вы можете проверить, — что между нынешней читающей молодежью явилось уже столько мыслящих людей, что Пушкин препровожден ими в тот же пантеон, в котором хранятся поэты и писатели отжившей России.

Так как большинство людей всегда составляли формалисты, то вопли против Писарева становятся совершенно понятны. Человеческое стадо устроено так, что вы можете из него вить веревки, но только не делайте этого вдруг и круто. Не сущность задевает людей, а процесс. Писарев был слишком резок и непочтителен. Уж если сдержанный и осторожный Добролюбов нажил себе так много врагов, то что же должно было постигнуть

Писарева, который не стеснялся в выражениях и даже дал повод г. Николаю Соловьеву высказать на этот счет несколько смелых мыслей об искусстве русских писателей ругаться и о современном состоянии русской литературы вообще. Напиши Писарев о Пушкине осторожно, а главное, очень скучно и тяжело, все бы нашли его доказательства основательными, солидными и полновесными, и похороны Пушкина совершились бы тихо, без всякого шума. Но разве сущность вопроса от этого изменилась бы? Пушкин умер во мнении мыслящих людей еще раньше статьи Писарева, что он и сам говорит, как бы в оправдание своей смелости. Писарев только объявил об этом народившемся мнении во всеуслышание, а чтобы его прочитала большая масса людей, он постарался написать статью общепонятно, бойко и занимательно.

Когда человеческая толпа чего-нибудь не понимает, она всегда прибегает к изобретениям, которые понятны только ей одной. То, объяснения чего следует, например, искать в последовательном мышлении, в обстоятельствах новой жизни, в перемене условий, требующей перестройки понятий,— человеческое стадо станет объяснять болезнью печени и почек, желанием порисоваться красивым словом, отличиться оригинальностью. Г. Николай Соловьев объясняет все последнее умственное движение России тем, что у одного писателя отделилась неправильно желчь и оттого он очень сердился. Смело и умно! И деятельность Писарева была объяснена так же основательно. Для наших толковников Писарев не был мыслящим писателем, смелым и даровитым популяризатором, человеком, в котором сильнее, чем в ком-либо, билась жилка времени, критиком-публицистом, который перетряхивал всю старую ветошь сознательно, чтобы показать всю ее непригодность для новой жизни, и заставить смотреть вперед. Во мнении толпы Писарев был не больше как зубоскал, который хотя писал умно и бойко, но в сущности все-таки только зубоскалил. Когда Писарев отрицал буквоедство и советывал бросить за борт всякую старую дрянь, когда он советывал вместо переливания из пустого в порожнее приняться за какое-нибудь полезное дело, его обвиняли в неуважении к науке, в разных уголовных преступлениях и в измене отечеству. И все это происходило оттого, что мрачные и тупые служители науки воображали, что они-то и есть сама живая наука. Писарев, например, совсем не понимал, зачем бы молодым людям забираться в тайники и трущобы древнего народного мировоззрения: кому какая от этого польза? Есть польза для народа, есть польза для того, кто забирается в тайник? Какая выгода может быть народу оттого, что молодой человек узнает все приметы домового, все варианты былины о Никулушке Сельяниновиче и все столкновения Иванушки с бабой-Ягой? А какая польза произойдет для молодого человека, если он узнает несколько новых подробностей о сказочных личностях и отпечатает в своей памяти несколько сотен лубочных картин?

Какой истинный смысл заключается в этих словах? Откройте любой учебник политической экономии и вы найдете в нем главу «о выгодном и убыточном производстве и выгодном и убыточном потреблении». Жизнь требует от нас практически полезных дел: у нас нет хорошо вспаханных полей, а мы отвлекаем свои рабочие силы на такие аристократические забавы, как раскапывание древних курганов, чтобы в кои-то веки найти глиняный черепок. Не ясно ли, что наши мозги работают не в том направлении. Ну, вот Писарев и говорит молодому поколению: не тратьте свои силы на пустяки, не обольщайтесь призраком науки в том, в чем ее нет, направляйте свои силы на практически полезные дела, смотрите себе под ноги и вперед, работайте для общей пользы и не беритесь ни за какое дело, если вы не в состоянии ответить на вопросы: за чем? Закон политической экономии о выгодном расходе сил Писарев только применяет ко всей области человеческой деятельности и к умственному труду. Докажите, что от-

зья Писарева о Грановском и Маколее — а вы его найдете на 118 странице второй части — неверен. Все приложение экономических истин к области умственного труда, делаемое Писаревым, так просто, что его может понять каждый шестилетний ребенок; а у нас его не поняли даже ученые и литераторы!

Никогда не поймет Писарева тот, в ком уже утратился порыв свежих сил, как не поймут старики молодых, усталые — идущих, мертвые — живых. В Писареве даже не умели понять его литературного приема; не умели понять причин его усиленных доказательств и подчас резкой речи. Хорошо говорить спокойной и приличной речью тому, кому решительно все равно, когда бы даже шел на улице каменный дождь; но кого живая жизнь берет за живое, кто живет своими убеждениями и верит в спасительную святость своей истины, тот не говорит тем сахарным языком, как говорят благопристойные немочки в немецких булочных. Даже за преферансом горячатся люди, а вы хотите, чтобы трибун, говорящий целой массе чутких слушателей, жевал кашу. Поймите, что Писарев живой человек, для которого все в будущем и нет ничего в прошлом, как и для той России, которая его теперь читает. Поймите это, и вам станет ясен его чистый, честный светлый образ, со всеми его недостатками, которые не недостатки его лично, а недостатки всех сильно и последовательно думающих людей. Ошибки Писарева не ошибки мышления, а ошибки быстроты. Что по умственным способностям стада возможно придумать лишь в двадцать лет, Писарев хотел заставить придумать также скоро, как он. Ну где же было молодому поколению успеть за ним, когда оно стало на Добролюбова. А стоит только отстать, чтобы разойтись и затем начать кидать грязью и камнями. Это старая шутка. Вы укоряете Писарева, что он ругался (!), а сами швыряете в него грязью.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Очевидно, Шелгунов имеет в виду напечатанную А. М. Скабичевским в «Отечеств. Записках» за 1869 г. статью: «Д. И. Писарев, его критическая деятельность в связи с характером его умственного развития» (№ 1, стр. 41—94 и № 3, стр. 51—90). В заключение своей статьи Скабичевский писал следующие характерные строки: «Разобранные мною статьи Писарева далеко не исчерпывают всего, помещенного в 9 томах собрания его сочинений...

Анализ мой может иным показаться слишком резким и жестким... К Писареву, как к человеку, я питал всегда живую симпатию и искренно любил его. Разбирая же его сочинения, я имел дело не с его личностью, а с тем складом мышления, который часто встречается в нашем обществе, едва переходящем еще от идеалистического мирозерцания к истинно реальному» (стр. 87).

Шелгунов ошибается: по выходе в свет сочинений Писарева о нем обмолвился не один Скабичевский; так, в «Русском Вестнике» за 1870 г. были напечатаны две статьи Л. Н. под заглавием: «Моралисты новой школы» и «Покойный Писарев и его читатели» (№ 7, стр. 259—368 и № 9, стр. 362—365).

² «Книжный Вестник» выходил в Петербурге с 1860 г. по 1867 г.

³ Н. И. Соловьев (1831—1874) — врач и критик, представитель эстетической критики. Шелгунов в 1870 г. выступил со статьей, направленной против критики Соловьева («Двоедушие эстетического консерватизма». «Дело» 1870, X).

⁴ Н. Н. Страхов (1828—1896) — публицист и критик, близкий по своим литературным взглядам к А. Григорьеву. В журналах братьев Достоевских «Время» и «Эпоха» под псевдонимом Н. Косица писал критические статьи, в которых ратовал против представителей революционной демократии 60-х годов.

⁵ Н. Станицкий — псевдоним А. Я. Панаевой-Головачевой (1820—1896), написавшей несколько повестей и романов (в сотрудничестве с Некрасовым). Роман Панаевой «Женская доля» («Современник» 1862 г., отд. изд. 1864 г.) Писарев разобрал в статье: «Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби» — «Русское Слово» 1864, № 8.

⁶ В. О. Португалов (1835—1896) — врач и публицист; в 60-х и 70-х годах принимал деятельное участие в «Деле», давая статьи преимущественно по вопросам гигиены.

⁷ «Знание» — научный, критико-библиографический ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге с октября 1870 г. по апрель 1877 г. и ставивший своей целью популяризацию достижений положительных наук.